

22 июня 1982

ЮНИОНСКАЯ СМОТ

С. АЛЕ-АТ



Мустай Карим:

ГОРУ МЕРИТЬ СВОИМИ ШАГАМИ

Завершаются Дни литературы и искусства РСФСР в Казахстане. Гостем республики был и лауреат Государственных премий РСФСР и Башкирской АССР, секретарь правления Союза писателей РСФСР Мустай Карим, автор проникновенных лирических стихов, пьес, которые с успехом идут на сценах театров страны, повестей для детей. Он переводит на башкирский строки великого кобзаря Тараса Шевченко, его собственные произведения звучат на десятках языков народов нашей страны.

Книги народного поэта Башкирии Мустая Карима — книги любви. Это рассказ о счастье жить, благословляя эту жизнь, эту землю — древнюю и всегда молодую, обновляющуюся, вынесшую немало испытаний и прекрасную. Достоинство и мужество, и любовь — вот основы его мироощущения.

Сегодня мы знакомим читателя с размышлениями Мустая Карима о литературном творчестве, с его напутствием молодым.

Лет тридцать назад было это. Со старым медлительным старателем — так называли у нас золотоискателей — мы сидели на берегу быстротечной зауральской речки. Он мне, молодому поэту, поведал тайну своего ремесла.

— Золото, что в земле, — начал он, — еще не золото. Его нет, коли я его еще не нашел. Но я знаю, что найду его, и тогда оно станет золотом.

— Это притяжка, — продолжал старатель, — а сказка в другом. Золотая жила в земле — что твое поваленное дерево, имеет свой ствол, свои ветви, только листьев нет. Попал на одну из веток, по ней ты и идешь. Но тебе неизвестно, куда она ведет. Если к стволу — тогда удача. Ошибся направлением — досада горькая. Кротом бестолковым ругаешь себя. Вот так, — старик впервые посмотрел мне в глаза. — За рискованное дело взялся, сын. Но тайна твоих удач не под землей. Глазами души гляди на мир. Тебе лучше будет видно...

Это золотое дерево навсегда осталось у меня в памяти. С тех пор о каждой строке, написанной мною, тревожно думаю: куда она выведет меня?

И тогда же я подумал: насколько похожи наши ремесла и насколько слово «старатель» точнее слова «золотоискатель». Потому что истинный результат все же — не находка, а выстраданное, выстраданное.

Почему меня, гражданина двадцатого столетия, лишает покоя какой-то принц датский, причиняют мне боль страдания и предсмертное прозрение какого-то мавра? Думаю, когда писались эти трагические истории, драматург вовсе не заботился ни о национальной самобытности, ни об интернациональном пафосе своих произведений. Они тем национальны, что в драмы даже не из английской жизни вложены тревоги и заботы английского общества, образ жизни и образ мысли той эпохи. А интернациональны они по своей общечеловеческой правде.

В сущности, на мой взгляд, в искусстве нет чисто национальных проблем, есть общечеловеческие проблемы, которые в одно время охватывают одни народы, в другое время — другие. Ведь людей, где бы и когда бы они ни жили, одинаково унижало рабство и угнетение, одинаково потрясали войны

и стихийные бедствия, одинаково возвышали революции и любовь, одинаково позорили поражение и измена. Та же жизнь — единственная человеческая жизнь, отданная в борьбе на благо других, считалась и считается священной, а спасенная во имя себя — презренной. Это у всех народов так. Назначение той человеческой жизни в конечном счете и является главным объектом искусства.

Что прежде всего замечаешь в творчестве наших молодых? Возросший поэтический уровень самого стиха, степень мастерства, владение техникой. Это дается прежде всего высокой общей культурой. Нет изнурительного пути на ощупь, молодые поэты ясно видят и свой творческий путь, и горизонты общечеловеческой культуры. Стихов профессионально малограмотных пишут теперь гораздо меньше, во всяком случае, печатают меньше. И все-таки, говоря о том, что хороших стихов много, приходится напоминать и о том, что хороших поэтов мало.

Есть одна черта, которая мешает многим молодым вырасти в личность: овладение поэтическим мастерством идет быстрее, чем овладение большими идеями времени. Есть какая-то робость, какие-то внутренние оговорки — молод, дескать, рано братья за большие темы. Честное слово, мы были гораздо ниже по поэтической культуре, к беде нашей, мало обращали внимания на форму, но были отчаяннее, гору меряли не на глаз, а собственными ногами. Мы чувствовали себя за все в ответе. Гейне был молод, когда сказал о том, что, если расколется земной шар, трещина пройдет через сердце поэта. Вот такое — прямое и оразу — приобщение к заботам мира видишь нечасто. Постигание мира какое-то слишком уж неторопливое, ступенчатое. Читаешь великолепные стихи, скажем, о дереве, но дерево это не на горизонте, а совсем близко.

Или вот другое. Меня радует процесс, который я наблюдаю в башкирской, татарской поэзии, да и во многих других литературах, — это возврат к истокам народного эстетического опыта. Без

него истинной поэзии и не может быть. Но что настораживает? Почему-то из эстетического опыта народа отбирается, как правило, отдаленное во времени. Помню справедливые в своей недоуменности слова одного умного человека. В недавней беседе разговор зашел о национальной одежде. И он сказал: «Почему-то у нас принято считать национальной только одежду, которую носили пятьсот, триста, двести лет назад... А ведь «национальная одежда» не есть что-то застывшее. Изменяется опыт, изменяется и отношение самого народа к нему». Вот эта взаимосвязь опыта и отношения к нему — «движущегося в движущемся» — осваивается еще недостаточно.

Мне могут возразить: и старая эстетическая система способна выразить новое содержание. Бытует, кажется, заблуждение, что взаимоотношение (формы и содержания) похоже на взаимоотношение пушки и ядра. Ядро (новое содержание), дескать, летит, а пушка (старая форма) остается на месте. Это сравнение если я и признаю, то лишь в другом плане: далеко ли удаются послать современный дальноточный снаряд, если закатить его в чугунное жерло петровских времен?

Любой опыт ценен своей практикой. Надо, я считаю, поставить эстетический опыт народа на службу дня, во имя утверждения будущего. Опыт для поэта вбирается в слово. Мы говорим: «новое слово». Значит, в этом новом слове уже есть больше опыта, чем во вчерашнем.

На встречах за рубежом наши коллеги иногда с умыслом, чаще без всякого умысла спрашивают нас: каковы взаимоотношения советского писателя с государством? И я всегда отвечал: «Государство — мой дом. [Какие особые отношения могут быть между мною и моим родным домом? Я живу тут, значит, тут работаю, мыслю, радуюсь, печалюсь. Здесь руками моего отца сделаны на матице зарубки о значительных событиях и датах. Здесь же качается колыбель моей внучки...»

Я — советский писатель, а не тихий и беспечный жилец. Я стучу, шумлю, спорю, критикую, даже возмущаюсь, ни от чего не отмахиваясь, таким образом, воюю за порядок в моем доме. Но я не ворчу, не злословлю, не сплетничаю, не фыркаю в кулак, это не мое, хозяйина, дело и не дело моего друга. Я горжусь великими победами и свершениями в моей державе, восхищаюсь умом, талантом, силой моего народа. Но я не на все смотрю с умилением и не на все разеваю рот. Эта глуповатая поза мне не подходит. Потому что я хочу, чтобы литература не только шла в ногу с действительностью, но и немного опережала ее. А жизнь не оставалась такой, как она есть, но становилась лучше.

Фото Р. Ваганова.